

## Любовь трех поколений

### Повесть

Утром в отделе, среди кипы деловых и личных писем, я нашла толстый конверт, который привлек мое внимание. Решила, что статья, и вскрыла его первым. Но это оказалось письмо, на многих страницах. Поискала подпись -- Ольга Веселовская. Удивилась.

Тов. Ольгу Сергеевну Веселовскую я знала как очень ответственного работника в деле организации одной из крупных отраслей советской промышленности. Работой среди женщин она совершенно не интересовалась. О чем же она мне пишет такое бесконечно длинное письмо?

Бросаю взгляд на конверт и только теперь вижу крупную надпись красным карандашом: "Строго личное".

Личное? "Личное" обычно означает у моих корреспонденток повесть о "семейной драме". Неужели у Ольги Сергеевны тоже "семейная драма"? Быть не может!..

Читать письмо сейчас -- нельзя. Ждут неотложные текущие дела. Но мысль невольно возвращается к многолистному письму и к образу Ольги Сергеевны.

Вспоминаю свои деловые встречи с ней, ее сдержанность и сухость в общении с людьми и ее необычайную, прославленную неженскую деловитость. Припоминаю, что у ней есть муж, хороший товарищ, бывший рабочий, с симпатичным, открытым лицом, которого любят, но считают много мельче ее. И работает он под ее началом, в том же учреждении. Муж моложе ее, но какая же тут может быть "драма"? Оба люди сознательные, товарищи, и сколько я их видела вместе, в их отношении сквозит исключительное созвучие.

Я помню его фразу: "Что вы еще спорите? Разве вы не слышали, что и Ольга Сергеевна такого же мнения?" Для него она, очевидно, высший авторитет.

Вспоминаю, как и у самой Ольги Сергеевны изменилось лицо и стало вдруг человеческим, а не надменно-сухим, когда ей на съезде пришли сказать, что ее мужу дурно (он -- хворый).

Может быть, драма в его болезни, в ее вечных страхах за его жизнь? Нет, об этом не исписывают многих листов почтовой бумаги...

Только уже под вечер, в своей комнате, добираюсь до занимающего мою мысль письма.

В чем дело?

"Пишу Вам частным образом, как товарищ -- товарищу. Пишу вам как женщине, которая больше моего сталкивается с такими вопросами

и, может быть, поможет мне найти выход из создавшегося невыносимого, угнетающего состояния духа.

Я -- в тупике. За всю мою долгую, сорокатрехлетнюю жизнь я не бывала в таком дурацком положении. Это именно тупик.

Вы знаете меня только как работника, да еще с репутацией "тяжелого, педантичного". Вам, вероятно, очень трудно себе представить, что я, да еще в моем возрасте, переживаю чисто бабью драму. Драму весьма обычную, водевильно-банальную, пошлую и потому особенно болезненную и обидную...!

И все-таки мне кажется, что банальность ее только во внешних проявлениях, не по сути дела. Мне кажется, что вся эта история -- прямой результат той ломки быта и понятий, какой переживается сейчас Россией и где рядом с великим совершается много мелкого и подлого, тяжелого, зловонного...

Порою мне самой претит от соприкосновения с такими фактами. Одна мысль о том, что подобные явления не единичны, возбуждает во мне чисто физическую тошноту и отвращение. А порою мне кажется, что это я сама не права. Что во мне говорит человек старого склада, что во мне действительно сильны буржуазные предрассудки, как уверяет дочь моя Женья, и что я сама извращаю всю картину, как говорит мой муж, тов. Рябков. Кто прав? Они или я?

Помогите мне разобраться. И выручайте меня, как следует с точки зрения новой морали, если я не права, если во мне говорят понятия, укоренившиеся буржуазным воспитанием..."

Здесь письмо обрывается. На другом листе и уже более четким и спокойным почерком Ольга Сергеевна продолжает свою начатую беседу со мною.

"Мне хотелось сразу приступить к сути дела, к существу моей душевной трагедии. Но если б я вам рассказала только самый факт и вы ничего не знали бы о моей жизни, получилось бы искажение картины. Вы могли бы обратить внимание на внешние события и упустить, что боль не там, что она глубже, сложнее, что факт я понять могу, но мотивы, мотивы..."

Одним словом, я попрошу вас запастись терпением и до конца прочесть мое письмо. Помните, что вам пишет товарищ, который ждет от вас товарищеской поддержки".

В письме несколько помарок; на новом листе продолжение...

"Вы помните мою мать? Она жива и до сих пор не выпустила из своих рук "первой передвижной библиотеки" в Н-ской губернии, работая при наробразе. Вы мою мать знали лично, поэтому описывать вам ее не стану".

Да, я знала и хорошо помнила Марию Степановну Ольшевич, типичную "культурницу" 90-х годов, издательницу популярно-научных книг, переводчицу, неутомимую деятельницу в области "просвещения народа". Среди либералов тех времен она пользовалась большим весом. Чтили ее по-своему и подпольные работники. Она оказывала "подпольникам" многие ценные услуги. Круг знакомых у ней был большой и разнообразный.

По политическим взглядам она стояла ближе к народникам, но прямого участия в политике не принимала. Ее страсть была -- книга, библиотеки, просвещение деревни и городской бедноты. У ней было много личных друзей и связей среди рабочих. Когда ее недавно хоронили (через несколько месяцев после письма Ольги Сергеевны ко мне), за ее гробом шли все местные организации: советские, партийные, профессиональные, хотя в партии она до конца не состояла.

Высокая, очень худая и очень прямая, с красиво посаженной головой, умными глазами и тонким, выразительным лицом, она внушала к себе почтительное уважение, даже робость. Голос ее был сухой и четкий. И говорила она кратко, веско, деловито, никогда не выпуская изо рта папироски. Одевалась она всегда просто и не по моде, но руки у ней были красивые, холеные, "барские", и на безымянном пальце она носила толстое золотое кольцо с темным рубином.

"Но чего вы, может быть, не знали, -- продолжала в своем письме Ольга Сергеевна, -- это то, что в молодости мать моя тоже пережила свою "любовную трагедию". И после того в вопросах любви у ней выработался свой законченный кодекс морали". Кто ему не следовал, того она внутренне беспощадно осуждала и даже презирала. А между тем моя мать была добрым человеком и передовым во всех отношениях. Но в вопросах любовной морали она по-своему была строга и беспощадна.

Расхождение наше с ней произошло не на почве политических несогласий, как вы могли думать, а именно на почве оценки "должного" и "ножного", когда дело коснулось моей личной драмы.

Мать моя вышла замуж по любви и против воли своих родителей за военного. Жила она в провинции в качестве "полковой командирши". По ее словам, она долго была очень счастлива. У ней было два сына и ее считали "образцовой семьянинкой, муж ее боготворил.

Но постепенно пассивная и слишком благополучная жизнь "полковой дамы" стала ее угнетать. Вы ведь знаете, что за неисчерпаемый источник энергии представляет собою моя мать Мария Степановна. Образование мать получила хорошее для того времени, много читала, бывала за границей, переписывалась с Толстым. Представляете себе, что "полковой командир" не мог ее удовлетворять?

Судьба свела ее с земским врачом Сергеем Ивановичем Веселовским.

Сергей Иванович (мой отец) -- персонаж, взятый из Чехова, со всем неопределенным идеализмом, вечным стремлением куда-то, в неизвестное, с большой любовью вкусно поесть и хорошо пожить и с еще большей растерянностью перед лицом практических зол и несправедливостей. Он был здоровый, красивый мужчина, читал те же книги, что и моя мать, говорил с чувством о крестьянах и о земстве, скорбел о "народной темноте" и платонически мечтал о насаждении в России библиотек, школ, просвещения.

Кончилось это, как и надо было ожидать. В один жаркий летний вечер, когда полковой командир находился на маневрах, моя мать очутилась в объятиях моего будущего папаша... Книга о "Передвижных библиотеках в Новой Зеландии" так и осталась недочитанной и затерялась в траве...

Кажется, мой папаша не был склонен считать "поэтический сон" летнего вечера за событие, долженствующее в корне изменить его жизнь. Он дорожил-своей свободой, и притом у него была в то время "хозяйкой" здоровая, молодая вдовушка-крестьянка.

Но моя мать, как я вам уже сказала, имела насчет морали свои "особые правила". Она, как она мне потом сама рассказывала, не боролась со своей любовью к моему папаше, считая, что "любовь имеет больше прав, чем супружеский долг". Но любовь для нее было нечто большое и священное. И "играть с чувством" она не умела и не считала достойным.

В Сергее Ивановиче мать моя, по ее словам, нашла воплощение всего, что искали ее сердце, душа и ум: страстно любимого мужчину, человека, которого она уважала, и друга, с которым она рассчитывала работать рука об руку в деле просвещения.

Оставалось лишь расторгнуть прежний союз с полковником и, гордо переступив через пересуды и шушуканье кумушек, по-новому, а главное по своему вкусу, устроить жизнь.

На другой же день моя мамаша с утра пригласила Сергея Ивановича и в липовой аллее, под стрекотанье кузнечиков, прочла ему краткое, по решительное письмо к мужу, в котором ничего не скрывала и просила развода, Сергей Иванович растерялся. Такой быстроты и натиска он не ожидал. Кажется, он пробовал что-то мямлить о том, что мать моя должна "поберечь свою репутацию", даже заговорил о материнском долге по отношению к сыновьям, но мать моя, хотя и удивилась его речи, осталась непреклонной. А так как она в то время была обаятельно хороша и так как мой папаша переживал медовый месяц влюбленности, то разговор кончился новыми объятиями, что окончательно утвердило

мамашу мою в необходимости немедленно "внести ясность" в создавшееся положение.

Однако ясность внести оказалось не так-то просто. Бедный полковой командир, страстно любивший мою мать, приехал домой, обезумев от горя и негодования. Развод он отказался дать наотрез. Жену он то засыпал упреками, грозил убить ее, себя, доктора-злодея, то впадал в покаянное настроение и молил жену остаться в доме хотя бы только в качестве "матери и хозяйки".

Мать моя его жалела, но чувство любви к человеку -- герою "с созвучной душой" было сильнее жалости. Убедившись, что доводы на мужа не действуют, она взяла свои вещи, деньги, бумаги, поцеловала своих сыновей и, не попрощавшись с полковником, уехала от него...

Губерния долго жила этим скандалом. Либералы были на стороне моей матери и видели в ее уходе от мужа, военного, к земскому врачу что-то вроде протеста "против режима". Кто-то посвятил ей стихи в местной газете, кто-то предложил на земском обеде тост "за женщин-героинь, переступающих порог традиционного брака, чтобы приблизиться к труженикам на поприще народного блага"...

Мать открыто поселилась у Сергея Ивановича И сразу же приступила к осуществлению своей заветной идеи, о которой вздыхал также и чеховский герой, мой папаша, -- к устройству "передвижной библиотеки". Идея эта стоила громадных затрат усилий и энергии. Ведь это были годы жесточайшей реакции. Но мать моя боролась с обычным ей упорством и с "земскими начальниками", и с губернатором, ездила в Петербург, пускала в ход "дружеские связи", настаивала, доказывала...

Когда идея была уже близка к осуществлению, мою мамашу, а заодно и растерянного, перетрусившего Сергея Ивановича арестовали и сослали в места не столь отдаленные. Там-то я и родилась.

И в ссылке мать мою не покидала активность, она и там образовала кружок самообразования, "клала основы" библиотек, учила просвещала... Отец мой томился, тучнел, опускался. Но, вернувшись из ссылки, он приобрел репутацию "революционера" и попал в земские деятели. Мать с новым рвением принялась насаждать в уезде "просвещение". Казалось, жизнь для моих родителей вошла в покойное, определившееся русло.

Но тут случился маленький неприятный инцидент: моя мать застала своего лысеющего, но все еще красивого супруга в весьма недвусмысленном объяснении со скотницей Аришей.

Папаша пробовал оправдаться. Но положение оказалось более запутанным, чем он предполагал: Ариша оказалась беременной.

Тогда моя мать без долгих объяснений уложила свои пожитки и вместе со мной переехала в губернский город. Папаше моему она

оставила деловое письмо, без упреков и жалких слов. В нем между прочим настаивала, чтобы он обеспечил ребенка Ариши, и напоминала ему, чтобы он воздержанное относился к спиртным напиткам, к которым стал питать все большее и большее пристрастие.

Все эти подробности я узнала от самой моей матери много позднее, тогда, когда она своей откровенностью со мной надеялась повлиять на меня, т.е. направить на путь "должного"...

Хорошо помню, что мать переносила свое горе с громадной выдержкой: я никогда не видела ее слез, а между тем она, по ее словам, не переставала любить Сергея Ивановича и всю жизнь осталась ему верна. В губернском городе мать приступила к организации того издательства популярно-научных книг, которое составило ей имя.

Я жила при ней. С ранних лет я приобщилась к кругу революционной мысли и деятельности, подростком читала "подпольщичку" и привыкла в "нелегальным" и к "нелегальщине".

Жили мы весьма скромно, немного даже "аскетически". В доме всегда царил "атмосфера труда" и витали "идеи" и "начинания". Мне еще не было шестнадцати лет, когда я в первый раз попала под арест, чем моя мать очень гордилась.

Но идейные пути наши с матерью тогда же разошлись. Я шла с "марксистами", она оставалась народницей.

На революционной работе, среди низов, я познакомилась с деятельным и тогда видным членом "Союза борьбы". Он был много старше меня, с "прошлым". Под его влиянием и я превратилась в марксистку, а позднее в "твердокаменную большевичку".

Мы сошлись. Но "из принципа" брака не заключали. Мать моя покачала головой, находя, что я еще слишком молода, что могла бы еще подождать, что во мне есть отцовские черточки, которые не обещают постоянства в любви, но с фактом примирилась. Мы поселились у моей матери, продолжая нашу работу.

Так как муж был "нелегальный", то кончилось это общим арестом. Друзья маму отстояли. Я ушла в ссылку с мужем.

Боюсь, что вам надоеет читать эту бесконечную прелюдию. Но без этого вступления вам непонятна будет моя теперешняя мука. Я хочу, чтобы вы помнили и понимали: я дочь и ученица самой Марии Степановны! А то, что впиталось в детстве, то, что усвоишь в юности, -- этого не вытравить из себя никакой логикой-

Итак, имейте терпение читать дальше мое растянувшееся письмо. Я подхожу теперь к драме "второго поколения".

Из ссылки мне удалось бежать. Муж -- остался. Попала я в Петербург. Чтобы скрыть мои следы, друзья поместили меня под видом

"домашней учительницы" в дом хорошо зарабатывающего инженера М. Во времена студенчества он примыкал к "группе марксистов".

Это был богато обставленный дом, где жили в свое удовольствие. Политикой интересовались наравне с Художественным театром и картинами Врубеля; политика служила занимательной темой для "салонных разговоров".

Я совершенно не знала этого круга, он был от меня далек и внутренне чужд. С первого же вечера я сцепилась с хозяином дома, кажется по вопросу о бернштейнианстве жаром и пылом, совсем не соответствующим "салонной обстановке". Всю ночь потом меня мучила и сердила моя несдержанность и почему-то особенно бесил насмешливо-ласковый взгляд инженера М. Что-то в этом человеке с первой встречи раздражало меня. Мне он казался крайне антипатичным, безыдейным, и все-таки мне страстно хотелось именно ему доказать нашу правоту, переубедить его, заставить признать наши принципы.

Жена его, хрупкая, хорошенькая куколка в кружевах и мехах, сумевшая, однако, родить пятерых крепких ребят, обожающими глазами следила за мужем и, смеясь, уверяла, что "вопреки всем правилам, чем больше она живет со своим мужем, тем больше в него влюбляется".

Меня раздражала эта атмосфера благополучия, это чересчур крикливо-показное "семейное счастье". Внимательность мужа к его хорошенькой жене, его вечная забота о ее здоровье вызывали во мне чувство досады, почти злости. Я нарочно говорила злые, обидные вещи о "благоденствующих либералах", о "сытом мещанском счастье", о "пошлости обывательщины", рассказывала о жизни ссылки и доводила нервную, хорошенькую Лидию Андреевну до истерических слез.

-- Ну, зачем вы это делаете? -- говорил мне с упреком инженер М., смотря на меня грустно-упрекающими, но ласковыми глазами.

Иногда мне казалось, что я их обоих ненавижу до того, что готова была натворить "неосторожностей", чтобы хотя вмешательством полиции всколыхнуть и нарушить их блаженный покой...

Переехать от них было невозможно. Квартира их служила прибежищем не только для меня, но и являлась удобной "явкой".

Когда я заговорила о переезде, товарищи сердились и совершенно не понимали моих доводов.

-- Зачем же вы с ними общаетесь? Держитесь в стороне.

Но именно это-то и было немислимо. Мне казалось, что я ненавижу красивую, сытую фигуру инженера М., его чуть картавый голос и небрежную походку. Но если я не видала его день-другой, я начинала



нервничать. Меня мучило, что я в доме "лишняя"; "чужая", его малейшая небрежность доставляла мне острую боль.

Но каждый раз, когда мы встречались, мы неизменно вступали в спор. Спорили до хрипоты, до резкости, до грубых выражений... Со стороны могло казаться, что мы друг друга глубоко ненавидим.

Но среди спора глаза наши иногда встречались -- и в этих взглядах был свой язык, который я боялась понять, осмыслить...

Раз партийные дела задержали меня за городом дольше, чем я предполагала, я вернулась поздно ночью. Сам М. открыл мне дверь.

-- Вернулась?.. А я уже потерял всякую надежду. И раньше, чем я успела опомниться, я очутилась в его объятиях, под градом самых неистовых поцелуев...

Но самое странное то, что это меня нисколько не удивило, что я точно-давно этого ждала.

На рассвете я ушла к себе, а он остался ночевать в кабинете, где спал в те дни, когда долго засиживался за работой.

На следующий вечер, на людях, мы опять спорили, страстно, непримиримо... И опять казалось, что мы враги.

А когда гости разошлись, М. предложил мне прокатиться с ним на острова (была весна и белая петербургская ночь). Жена, смеясь, настаивала, чтобы я поехала... Ей это казалось "забавным". Меня она не удостаивала ревностью.

Так начал запутываться узел моей жизни.